**Граница**

Странно пытаться что-то сказать,

когда двадцать пять процентов людей

лишились семидесяти пяти процентов слов

и ставят звездочки на месте самого важно.

Но слово — это последняя власть,

и я ее не отдам.

Мама живет на границе.

У них падают бомбы и у нее

случился инфаркт

после того, как я сказал ей по телефону,

что происходящее — это преступно,   
что молчание — соучастие,

и что я купил билет из страны в Среднюю Азию,

потому что теперь мне опасно здесь оставаться.

В тот же час она упала на пол своей кухни,

очнулась через сколько-то там часов

и смогла вызвать скорую.

Она не отвечала мне двое суток,

а потом рыдала

и говорила, что я ее убил.

Молила бомбу, чтобы она до нее долетела.

Она писала (дословно):

«Ты меня не слышишь.

15 лет я пытаюсь пробиться к тебе

и ты все 15 лет меня отталкиваешь.

У меня уже не осталось ни сердца, ни души.

Одна большая рана.

Я бесконечно переживаю и боюсь за тебя.

Мне страшно, как ты себя настырно ведёшь к пропасти.

Здравый разум тебя окончательно покинул.

Ты все 15 лет идёшь не по пути здравого смысла.

И я не знаю, как тебя спасти.

Но я точно знаю, что не приму участия в твоей гибели.

Ещё раз подумай: кто тебя ждёт в чужой стране без денег, без жилья, без работы?

Моё сердце не выдерживает этой боли.

На моем сердце шрамы.

Ты хоть понимаешь, что это путь в одну сторону?

От себя не убежишь.

И страх — плохой советчик.

Забудь меня.

Не звони,   
я не в силах разговаривать.»

Сказала и позже добавила,

что надо удалить переписку —

опасно.

И лучше вообще удалить вацап.

Я подумал: шрамы будто бы безопаснее слов,

их легче скрыть,

что слова будто страшнее физической человеческой смерти.

Когда \*\*\*\*\* началась,

я умолял ее поехать ко мне,

а она говорила:

“Я не брошу свой дом».

Она говорила:

«В любых ситуациях есть и плюсы, и минусы.

Всегда ищи плюсы.

Я лет десять тебе говорю, чтобы осваивал

нормальную такую профессию,

где есть деньги.

Нужную людям.

И, наконец, это самое время».

Я говорю: «Да, Слава богу,

можно стать сантехником,

солдатом и проституткой».

Она говорит: «Что за настрой?

Сантехник нормальная мужская работа.

О боже, чё, первый раз что ли?

Сколько раз уже были

международные конфликты.

Сколько раз уже

было страшно.

И никогда Запад не откажется от экономических связей с Россией.

Сейчас надувают щеки, так надо.

Это геополитика».

Может и так, но теперь “до \*\*\*\*\*”

означает не до сорок первого года.

Оно означает “вчера».

И пускай она не понимает, что значит терять дело жизни,

но знает,

что значит бежать с родины от войны,

просто делает вид, что забыла.

За месяц отменили почти всю мою работу и всем все понятно.

Роман, который я почти что закончил,

больше не нужен.

Для России

мысли о будущем

стали невыносимы.

— По телеку показывают “Брата»,

нашего “Брата” —

писала она. —

Ты не любишь его только лишь потому

что его люблю я.

Потому что он сильный.

А я думаю,

что ностальгический фашизоидный “Брат” в повторном прокате

хуйня ещё потому, что корреспондирует

самым бедным и ксенофобным,

тем,

кто не мечтал никогда и не верил,

и кому не больно от того, что их вновь принудили к изгнанию,

но не образованному сословию,

которое теперь,

очевидно,

главная жертва внутри России.

Герой нашего времени

не бедный рабочий, не люмпен, не мент с НТВ

и не бюджетник с дипломом профессионального колледжа —

такой типа простой маленький человек.

А тот,

кто всю жизнь придумывал будущее

и делал все,

чтобы преодолеть свое изгойство по происхождению,

не быть стылым творогом крови

в больном черном мясе страны,

а быть как та девушка или парень на “Оскаре»,

которые по праву благодарят

свое трудолюбие и волю к победе,

берут статуэтку

и спускаются к первому ряду кресел,

целуют девушку или бойфренда,

минуя преступность, жалость к себе и казенные лифты.

И, сказав это,

я подумал о солдатах,

чьи ступни подорвались на военных билетах,

только начав ходить.

И про кого-то из главных, на камеру пожелавшего героям

«поскорее встать на ноги».

И что нам еще предстоит их увидеть.

И что нам еще предстоит с ними жить,

и отводить на улицах взгляды,

и говорить про себя типа «не верил, не знал, не мечтал,

я ведь маленький»,

продолжая свой медленный путь

крохотными шагами по скользкому

в страхе,

запорошенные мартовским снегом, похожие на творог комками,

трогая скользкое, черное, холодное мясо страны

под ногами.

До инфаркта я говорил ей:

“Мама, ты же бежала из республики в Средней Азии,

с родины всех наших предков,

этнических русских.

Ты помнишь, что такое \*\*\*\*\* и бездомность.

И ты помнишь, что наша страна

никогда,

никогда не защищала русских».

На это она мне ответила: “Времена изменились,

это другая Россия».

Я думал: “Мама, ты же кандидатка по экономике,

ты же в прошлом либеральный политик,

ты когда-то учила меня наукам,

свободе

и справедливости.

Когда тебе стерли память?».

Пока я думал, она говорила мне что-то про геополитику,

в которой я не разбираюсь,

и что ей жалко людей, очень жалко.

Говорила и плакала,

терла свою большую грудь там, где сердце,

и мне было ясно это внутренне непреодолимое противоречие;

что геополитика — это прием обобщения,

отчуждающий от индивидуального и гуманного,

позволяющий сердцу не расколоться.

А потом у них стали бомбить.

Мама писала: «После обеда стало бахать со стороны Украины.

Так близко, что я решила — бомбы у нас.

Нас бомбят.

Зарево, дым — очень близко.

Я Саше сказала: пойдем деревья пилить,

яблони резать.

И если нас разъебут,

так мы труса не праздновали».

На третий день после инфаркта

она написала спокойное сообщение.

Слала мне стикеры динозавров с накрашенными губами,

которые говорят “хе-хе-хе» и шлют поцелуи,

и рассказывала про яблони.

И все стало тихим и бархатным,

как утром в детстве на Пасху,

или на Рождество,

или в любой другой святой день.

Я остался в России,

позволил билету сгореть

и поехал к маме.

За несколько дней до \*\*\*\*\* я писал про то место:

В селе тишина — это страх.

Ее заклянают телевизором в каждом доме,

лаем собак во дворе

и криками через дорогу: “куда?”,

“я туда»,

“тогда да»,

“да, ага».

Как плесень на старой веранде,

снова и снова

тишина проступает зеленым по краске

и все становится беззащитным и голым.

Недавно сосед замолчал пьяный в сугробе

и тогда алабай

укусил хозяина за голову и стянул скальп,

за то что тот замолчал.

Этот пес размером с теленка,

бродит всегда по обочине на выезде из села около магазина

печальный,

голодный

и ждет, когда кто-нибудь замолчит.

И об этом все всегда помнят.

Говори с кем угодно, хоть с кошкой, собакой,

хоть с яблоней, хоть с сугробом,

пой песни советские.

Говори, повторяй, заклянай.

В деревне все только и делают, что говорят:

о еде, траве, пенсии, путине и снова еде.

Поют песни старые снова и снова,

из года в год,

снег счищая с дорог, чтобы снова все завалило,

чтоб кроты снова поели все луковицы тюльпанов,

чтобы веранда опять стала зеленой,

и косят траву на леваде, чтоб через месяц

она снова была по макушку;

бранятся: клубника невкусная, кислый сорт;

и высаживая такую же снова и снова,

чтобы смешать со сметаной и сахаром,

дать внукам и говорить,

что это самая лучшая ягода,

потому что своя,

не ваше импортное ГМО;

наготавливают еду, чтобы завтра опять было нечего есть;

говорят-повторяют.

В селе мало кто помнит, как тут оказался,

а если и помнит — все равно забывает

и уже никуда не уходит.

Земля держит, не отпускает,

трава держит, не отпускает,

плесень держит, не отпускает,

сугробы держат, не отпускают,

клубника держит, не отпускает,

песня держит, не отпускает,

пенсия держит, не отпускает,

алабай стережет на выезде из села около магазина,

и, бывает, кто-то доходит до края села,

слушает тишину,

смотрит на алабая,

чувствует себя беззащитным и голым

и начинает песню старую-старую,

что там все плохое, импортное и ГМО,

что своя клубника самая лучшая,

а по телевизору путин с гадалками тишину заклинают, всех нас спасают,

и как же трава-то, трава.

И песня возвращает к земле,

песня спасает —

тишина убивает.

И теперь все это звучит очень глупо,

потому что с шумом приходит настоящая смерть.

Все, кроме части про путина и гадалок.

Я писал подруге:

“Над маминым домом летает столько всего —

истребители, вертолеты,

что я просто не знаю,

что они собираются делать.

Истребитель летит очень быстро,

пару секунд пересекает небо,

но воздух гремит полминуты.

Ещё над нами всегда вертолеты.

Видимо, патрулируют приграничную территорию.

Я не знаю.

Они летают, как жирные комары и обычно по двое,

как полицейские на вокзале.

Слушать их вовсе не страшно.

При мне ничего не бомбили или не слышал.

А когда там бомбили, мама сказала,

что было видно крылья ракеты —

так близко.

Рядом с нашей деревней находится полигон.

И хотя я не видел взрывы,

но видел кривые химтрейлы от неба к земле,

как много соединенных в гирлянду букв z.

Ракета падает где-то, но взрыва не слышно».

Эту неделю мы с мамой так много смеялись,

как, кажется, никогда с детства.

Потому что никогда не знаешь, как будет.

Кроты краснокнижные уже стали копать.

Мы работали в саду и шутили,

что они диверсанты

и копают в сторону Украины,

и что их надо ловить,

чтобы потом отвезти в Гаагу за счет государства.

— Я собираю документацию, — шутила мама, —

как ты меня притесняешь.

А потом передам ее в Нюрнберг.

Ты давненько в Германии не бывал?

Мечтал?

Так вот, мы отправим.

И мы спорили, кто из нас больше кого репрессирует.

Не знаю, но почему-то все это нам было смешно.

Мы готовили много еды:

бешбармак, плов, курутоб,

кинза, зира, много перца —

все как и раньше.

Все как и в детстве,

когда мы расставляли на дастархане наш постколониальный быт,

ели руками

слушали телик и там

была очередная

бесконечно длинная

колониальная война.

Но теперь мы слушали не телевизор, а воздух.

Мне пришлось ехать в Москву, хотя совсем не хотел.

Смотрел, как на местном вокзале ходят кучки людей с автоматами,

хватают прохожих, куда-то уводят.

Ехал с ротой солдат не знаю откуда,

сильно обросших, веселых.

Наблюдал хворого старика,

который тащил на нищем плече

пустую грязную сумку “РОССИЯ».

Читал, что в Московском патриархате сообщили о смерти священника

неподалеку от города —

попал под снаряд.

Думал о маме.

И если совсем было плохо — включал VPN

и смотрел в инстаграме на Майкла и Робина из Атланты.

На очень нормальных,

счастливых

и незнакомых людей, живущих семьей.

По фотографиям Майкл похож на отца,

которого я не знаю.

Я написал тогда:

Мой отец живет в Атланте.

Его зовут Майкл.

У него черные волосы и голубые глаза.

Он помолвлен с рыжим парнем по имени Робин

и в инстаграме у него написано в профиле:

«Айм нот зе дэд ю хев,

Бат айм зе дэд ю олвейс вонтед».

И он правда похож на моего папу,

если бы тот жил в Атланте и не пил,

не пытался зарезать маму,

не прыгал в окно.

Ты южанин, я тоже по происхождению.

И это в общем-то все.

Я надеюсь, ты не ходишь по темным улицам в одиночестве,

не бьешь никого, не ругаешься

и всегда приходишь домой,

слушаешь Агузарову, Лепса и “Вороваек»,

а в Атланте тепло

и дружно.

Это все, что меня интересует.

Я приехал в Москву,

иду мимо “Курской» с вокзала

в куртке, запачканной садовой землей,

через вокзальных бездомных, безногих и нищих,

и не отвожу взгляд.

Я захожу в свой прогрессивный топ-вуз,

как когда в гости заходишь к новым хозяевам твоей старой квартиры

на десять минут что-то забрать

и остаешься на час.

Иду в столовку и на задний двор, хотя не хочу ни есть, ни курить,

не замечаю, что в расписании нет некоторых предметов.

Я хожу и запоминаю красивые лица,

которые все еще здесь

и все еще делают то,

во что верили раньше.

Они смеются, едят, что-то пишут и обсуждают,

носят пацифики, радужные значки,

строят планы и продолжают

придумывать будущее.

Иду в те театры, в которых работал до этой \*\*\*\*\*,

ведь самые красивые люди Москвы

всегда прятались в театрах и прогрессивном топ-вузе,

и если раньше они были витринами,

то теперь это картонные Ольги Бузовы из «Пятёрочки».

Я понимаю, что хочу купить какой-то цветок

и лучше гвоздику.

Потому что Россия теперь — это цветок без корней.

Он все еще в цвете, но уже горбится.

Он все еще символ победы и смерти.

И не к добру собирать гвоздики с земли.

Поэтому я хочу купить ее и ходить долго-долго,

поддерживать пальцами ее чахлую голову

и бесконечно откладывать расставание.

Я всегда любил сухоцветы,

как, например, хлопок с родины моей мамы

и всех наших предков — сосланных этнических русских.

Ему не приходится умирать,

мне не приходится наблюдать,

и его легко сохранить в альбоме между страничек

и в целом не жалко выбросить или, там, потерять.

Хлопок спит в альбоме спокойной необратимостью,

проводит границу времен черным стеблем,

но невозможно засунуть в альбом ещё живую гвоздику-Россию.

И я буду ходить с ней по улицам,

поддерживать ее сонную голову

долго-долго,

долго-долго,

сколько даст Бог,

пока время

не сделает с нами все, что положено,

прижимать ее к широкой груди

там, где у нас всех разбитое сердце,

потому что мы — это целое,

и родная страна не делится надвое,

на хорошую и плохую,

живую и мертвую,

врача и убийцу,

все это мы,

нету границы.

И нам все равно

больше некуда

от этого

деться.